

Оглавление

ПРОЛОГ

5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

23

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

75

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

139

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

191

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

233

Когда судьба по следу шла за нами,
как сумасшедший с бритвою в руке.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

Пролог

О книга раздора, рукопись несчастий! Бог свидетель, она была создана с желанием добра, с высокой целью: исправить надломленные судьбы потомков, избавить их от рокового наследия семьи, уберечь от ловушек бытия, корнящихся в прошлом.

И потому, ради блага будущего, один человек не был допущен в повествование, не был взят на ковчег рукописи, остался во внешней тьме — так отказывают от дома тем, кто запятнал себя и может запятнать других. Но из этого поступка, казавшегося точным, зародилось новое зерно прежнего рока. Оно сделало книгу началом дьявольской игры, простиравшейся через поколения и эпохи.

Но там, в начале пути, осенью девяносто первого года, книга была великолепным даром, желанной встречей; казалось, она явилась очень ко времени, она — провозвестие больших и малых перемен, которые произойдут со страной и людьми.

Какие это были месяцы! В августе на Лубянской площади, где глухо стукнулся об асфальт Железный Феликс, общим было чувство, что здесь и сейчас рождается новая страна. Мы уже в ней, нам нужны лишь еще одно или два усилия, чтобы развязаться с печальным и мрачным наследием; нужна правда о прошлом — и мы не повторим ошибок, история пойдет новым путем.

Незаметным героем этого времени стал для меня альпинист, забравшийся на статую Дзержинского, чтобы набросить трос со стрелы крана; вскарабкался, набросил, спустился — и ушел, исчез в толпе, и было его не узнать; один из сотен, тысяч, десятков тысяч молодых людей, “людей августа”, как я назвал нас всех тогда.

Бронзовый истукан повержен — ложное прошлое отринуто. А истинное — в книге, в рукописи, обернутой в коричневый коленкоровый переплет, с корешком, прошитым суровой воощеной ниткой. Нежданной, внезапной рукописи, врученной мне в последних числах августа моей родной бабушкой Таней.

В детстве я единственный в семье знал, что она пишет какой-то текст, и догадывался, что это воспоминания. Но так продолжалось год за годом, порой я месяцами не видел, чтобы она садилась за стол и открывала тетрадь; и я уже свыкся с бесконечностью ее письма, считал, что это такой внутренний разговор, стороннего читателя не предполагающий. Потом, в конце восьмидесятых, бабушка заболела, один недуг сменялся другим, и на несколько лет тетрадь с ее рукописью куда-то исчезла. Соответственно, она исчезла и из моих мыслей, я забыл о ней с торопливой легкостью подростка, проглатывающего дни; думать о рукописи означало бы длить призрачную, ни на чем, собственно, не основанную надежду.

Надежду? Да.

В те моменты, когда я задумывался об этом, я чувствовал, что бабушкина тетрадь — нечто почти запретное, невозможное для той жизни, в которой я живу. Я не обладал гениальной проницательностью, но все же ощущал — как ощущают настроение, атмосферу, — что существую в необъяснимом поле молчания.

У ребенка изначально есть убеждение, что взрослые живут в каком-то смысле добросовестно; да, ребенку они много не говорят, потому что “ему еще рано”, и проникать во взрослые тайны есть одно из волнительнейших занятий детства; но как ему предположить, что есть множество вещей, вообще

исключенных из сферы обсуждаемого, что есть язык, на котором молчат?

Не видя масштаба, он может только подмечать странности, внезапные паузы в разговоре, чувствовать, как вдруг отчуждаются, словно становясь суровыми стражами чего-то, близкие люди. В тридцатые и сороковые молчали с кляпом во рту; к началу восьмидесятых кляп исчез, осталась только привычка к нему, уже вросшая в личность, кажущаяся изначальной частью человека; так молчание становится *молчаливостью*, явление — свойством, и ты никогда не свяжешь это мнимое свойство с неизвестными тебе истинными причинами его возникновения.

Бабушка Таня была, так сказать, адептом веры в молчание. В других людях можно было уловить осадок произнесенного, груз невысказанного, лежащий на душе; слова прорывались наружу в застольных разговорах, непонятные, будто боящиеся самих себя. А бабушка Таня, как монах, достигший высших степеней отрешения, прекратила этот оборот слов внутри себя; ее молчание было внутренним.

У родителей было свое, вполне убедительное объяснение тому, почему бабушка Таня не любит вспоминать и говорить о прошлом; складывалось оно из двух частей.

Во-первых, она была редактором Политиздата, партийного издательства политической литературы. И хотя редактура ее являлась сугубо технической, а не идеологической, родители полагали, что бабушка Таня выучена (что, вероятно, отчасти было правдой) строгой дисциплине, царящей в цехах, коридорах и кабинетах Политиздата, где, собственно, и *производили* официальное прошлое — специально написанное, подретушированное, утвержденное.

Во-вторых, в семье была тайна, так искусно поданная, представленная, что тайной она не казалась. Мой отец, родившийся в войну, рос без отца; своего родителя он никогда не знал, как и я — своего деда. О нем никогда не говорили, от

него не осталось никаких свидетельств существования; даже отчество отца — Михайлович — казалось произвольно выбранным, ничего в смысле родства не значащим. На месте человека осталась какая-то вызывающая, самоочевидная пустота, как на месте отрезанной ноги, не могущая вызвать вопросов; как будто бы так бывает, что дети рождаются из ничего, силой обстоятельств, без всякого участия мужчины.

А параллельно — в абсолютном противоречии с пустотой — существовала легенда, история, которую, наверное, бабушка Таня придумала для не выросшего еще отца; легенда о том, что дед Михаил был радистом, они познакомились с бабушкой еще до войны на параде физкультурников, полюбили друг друга, собирались пожениться, но началась война, и деда Михаила забросили с группой разведчиков глубоко в немецкий тыл, чуть ли не в самую Германию. С тех пор — гласила легенда — от него не было никаких вестей. Может быть, он погиб, а может быть, еще жив; может быть, он до сих пор там, в Германии, за железным занавесом, шлет тайные депеши. Бабушка создала этот образ для сына, чьи сверстники гордились героями-отцами, погибшими и живыми, пригласила его участвовать в игре фантазии, и он, естественно, эту игру принял.

С тех пор в семье жил своей собственной жизнью фантом; все, в общем-то, знали, что легенда — ложь, но оттого, что это была ложь якобы во благо, от долгих повторений, от привычки относились к ней так, словно она — правда.

Я тоже верил в эту легенду до подросткового возраста; не могу даже вспомнить, кто мне ее рассказал. В одиннадцать или двенадцать лет я понял, что история про секретного радиста — благожелательный обман. Но, что удивительно, это открытие не уничтожило сюжета про радиста Михаила; он все-таки замещал пустоту, давал какой-то намек на реальность существования деда. Я был заморожен тем, как медленно, последовательно выдумка вплетается в реальность, и уже, может быть, для моих детей, если они родятся, станет правдивым преданием.

Родители, кажется, считали, что за бабушкиным молчанием о деде Михаиле скрывается глубокая личная трагедия; он не просто ушел на фронт и был убит или пропал без вести; нет, он, наверное, бросил ее с ребенком, ушел к другой женщине, оказался человеком без чести; может быть, война открыла, что он трус, он бежал с поля боя, был судим и расстрелян.

Примечательно, что никто никогда не высказывал предположений, что дед Михаил мог сдаться в плен, стать влазовцем или оказаться после плена в сибирских лагерях, мог быть арестован за критику советского строя, как, например, артиллерист капитан Солженицын. Это была бы драма истории с привкусом политики, а в бабушкином случае почему-то видели (хотели видеть?) трагедию в первую очередь именно личную, можно даже сказать — женскую; прекрасной, достойной женщине попался в разных смыслах *не тот* мужчина.

Такая точка зрения, среди прочего, давала замечательное объяснение, почему не стоит спрашивать у бабушки Тани про деда Михаила; в качестве *личной* драмы он принадлежал ей одной, это была история разбитых чувств. Никто так и не спросил; мне кажется, такое положение дел всех устраивало, ведь отец и мать подсознательно опасались, что тайна, скрываемая бабушкой, не такая уж и личная; вообще — там, в прошлом, много всего, от чего их и меня охраняет бабушкино молчание.

На стене в бабушкиной комнате висели десятки старых фотографий — прадед, прабабушка, бабушкины братья и сестры, дальняя и близкая родня; они как бы постоянно присутствовали в жизни семьи, наблюдали, например, за моими детскими забавами на бабушкином диване, видели, как я передергиваю карты, мухлюя в “дурака”, отряжаю отряд игрушечных солдат штурмовать немецкую позицию за холмом подушки.

Но бабушка ничего не рассказывала о них. Поэтому их присутствие было мнимым; эти фотографии, такие колоритные, такие достоверные, на самом деле закрывали, запечатывали вход в прошлое, будто безличные фигурки ларов над очагом.

...В августе девяносто первого мне казалось, что бабушкина рукопись распахнула эту дверь в прошлое. Бабушка просто оставила тетрадь у меня на столе, без слов, без записки, как нечто самоочевидное, порожденное самим ходом событий, вчера еще невозможное, сегодня неизбежное; триста страниц, исписанных разными ручками, разными чернилами, страниц, уже пожелтевших — рукопись была начата очень давно.

Еще не зная, о чем, собственно, бабушка Таня написала, я был уверен, что, когда прочту ее воспоминания, тьма прошлого исчезнет, я увижу все и всех; буду рожден заново, выйду в новую жизнь, книга сама выведет туда.

Я без всяких объяснений бабушки знал, что книга — моя, мне предназначена и, может быть, я не должен рассказывать о ней отцу и матери; бабушка приготовила послание только для меня, их она не считает способными переродиться, поэтому и сохранила все в секрете. И настолько велико было чувство обретения, чувство, что все уже совершилось, что я день за днем отодвигал чтение рукописи, наслаждался временем, похожим на преддверие любви; наверное, это была первая ошибка в долгой, долгой цепи.

Однажды вечером я вышел с рукописью на балкон, как раз думая, что сегодня начну читать; мне хотелось ветра, шума листвы, сумерек, первых звезд — как прелюдии к чтению; и я не заметил, не услышал, как домой вернулся отец, зашел ко мне в комнату — и застал меня с рукописью в руках.

Конечно, у меня не хватило выдержки или сообразительности сказать, что это какая-нибудь учебная тетрадь. Отец, хотя и не подал виду, крайне удивился и обиделся — почему бабушка вручила свои воспоминания мне, а не ему, сыну?

Он спросил меня — начал ли я читать; и я, честный дурак, вдруг почувствовавший какую-то выдуманную вину перед ним, признался, что нет, не начал. Отец попросил рукопись “посмотреть” — и я отдал, уже понимая, что отдаю насовсем, что отец начнет ее читать и не вернет, пока не закончит. При-

знаю, мне было жаль отца, я не хотел ссоры, которая могла возникнуть между ним и бабушкой; ссоры — или отчуждения; и я пожертвовал правом первого прочтения, хотя понимал, что это именно жертва.

Казалось бы, какая разница, кто и в каком порядке; пожди месяц или сколько там отец будет читать — и ты получишь рукопись обратно; что изменится за месяц, что изменится оттого, что ты будешь не первым, а вторым, кто увидит эти строки?

И все же мне было жаль, что отец перехватил рукопись; он, кажется, не вполне понимал, насколько она мне важна, думал, что мною движет лишь верхоглядное любопытство; и у меня уже не было возможности объяснить ему свои ощущения. Я чувствовал, что тут возникла какая-то неточность, сбой; жалел, что не смог найтись, схитрить, обмануть — и не мог ничего вернуть назад.

Отец никогда не был быстрым читателем; кажется, даже если в книге встречалось скучное место, которое можно было бы пропустить, он прочитывал его с удвоенным вниманием, тренируя волю и упорство. Я, конечно же, ожидал, что на этот раз он все-таки прочтет текст взахлеб, за сутки, за двое, в один приступ. Но он, словно решив испытать мое терпение, читал, может, про три-четыре страницы в день, обложившись энциклопедиями и справочниками, делая пространные выписки, чертя какие-то графики, схемы, наброски генеалогического древа.

Отец не раз хотел поговорить с бабушкой Таней, уточнить что-то, попросить вспомнить детали — ведь не все же, в конце концов, полагал он, она записала.

Но, похоже, бабушка Таня записала действительно все; сам процесс письма служил опорой ее памяти. А когда рукопись была закончена, оказалось, что бумага знает теперь больше, чем помнит бабушка. Она заболела, ослабла, с трудом поднималась с постели, жаловалась на головные боли; в кратчайший

срок, буквально в две-три недели, она позабыла почти все, о чем написала, позабыла, кажется, сам факт существования собственных мемуаров, хотя события и дела ближайших дней в домашнем кругу помнила отчетливо, пусть и немного на ощупь.

Казалось, что существование ее раздвоилось, человек оказался приложением к стопке листов, на весах бытия бумага с чернилами весила больше, чем тело. Она только с удивлением смотрела на тетрадь, которую отец показывал ей, и смущенно улыбалась — дескать, сама не знаю, откуда все это взялось, как получилось.

Родители вызывали врачей, те выписывали таблетки, говорили про сосуды головного мозга, понимающе кивали — что поделаешь, возраст... А у меня крепло ощущение, что бабушка сама открыла путь болезни, устранилась из жизни; с ней происходит то, что не имеет отношения к заболеванию.

Гораздо больше времени, чем отец и мать, я проводил дома, на меня была возложена обязанность присматривать за бабушкой Таней. Вечером и утром, когда нас было четверо в квартире, бабушка вела себя привычно, как и раньше, как и все время, что я ее знал. Но когда отец и мать уходили, когда она порой теряла меня из виду, забывала, упускала, что в квартире есть кто-то, кроме нее, возникала какая-то другая, незнакомая мне бабушка Таня.

Она всегда отличалась чрезвычайной редакторской аккуратностью; прежде я не помнил случая, чтобы она что-то разбила, просыпала, пролила, опрокинула, чтобы каша у нее пригорела или молоко убежало, испачкав плиту, чтобы иголка вонзилась в палец. А тут стихии и предметы вдруг словно взбунтовались, и дня не проходило без маленького ЧП. В бабушку вселился маленький демон уничтожения, пробуждающий к жизни силы хаоса; и я, как страж, боролся с ним.

Демон, демоненок мастерски использовал слабость бабушки, ее забывчивость; чудилось, он задался целью уничтожить

квартиру целиком. Бабушка зачем-то включала газ, и я проветривал потом кухню; клала газету слишком близко к зажженной конфорке, включала электрический обогреватель, не заметив, что занавеска касается раскаленной спирали; пожар, потоп, воры, — сколько раз бабушка отпирала входную дверь, оставляла ее приоткрытой, — все возможные несчастья настойчиво искали себе тропку в наш дом.

А потом я понял, что она хочет что-то уничтожить; бродит по комнатам, ведет допрос вещей, укрывших промеж себя то, что она ищет. Однажды, вернувшись из магазина, я застал ее плачущей — над тазом, полным бумажного пепла; она что-то сожгла и, кажется, только потом поняла, что сожгла не то.

Рукопись — неужели она разыскивает ее, чтобы сжечь? Она передумала? Решила забрать свои воспоминания обратно? Но рукопись лежала у отца на столе, и бабушка десятки раз проходила мимо нее. Не помнит, как выглядит тетрадь? Вообще не помнит, что нужно уничтожить, и потому пытается навлечь на дом несчастье, которое поглотит все вещи сразу? Что же там, что она написала, почему так тревожно и маетно ей, хотя, казалось бы, она сама отдала рукопись для чтения? Это как-то связано с тем, что читает отец, а не я? Бабушка это понимает?

Сколько раз я хотел, пока отец на работе, открыть рукопись; но у отца была одна особенность — сверхаккуратный, он обязательно заметил бы, что тетрадь кто-то трогал; еще в детстве я уяснил, что могу залезать в шкаф к матери, к бабушке, но, как только вступаю на территорию отца, беру, например, штангенциркуль из готовальни, чтобы вообразить из него долговязого металлического человечка, я буду непременно разоблачен, хотя положу все вещи на место миллиметр к миллиметру; и потом, мне казалось, что рукопись не делится на двоих, к ней нельзя относиться как к обычным книгам, простым и доступным, открыл — читай.

Отец же, не знавший про тревоги бабушки, — я ничего ему не рассказывал, повинуюсь ощущению, что так правильно,

а к вечеру бабушка успокаивалась, становилась прежней, — читал воспоминания. Он полагал, что бабушка, поняв однажды, что ей не так уж и долго осталось жить, решила рассказать под конец жизни обо всем, что знала и видела; оставшись одна из старшего поколения некогда многочисленной семьи, она выполняла долг последней из рода, долг перед предками и потомками.

Он был совершенно потрясен открывшимся масштабом прошлого; в общем-то человек сдержанный, не склонный к аффектам, отец то и дело пересказывал какие-то фрагменты: оказывается, наш самый дальний предок был татарским мурзой, перешедшим на русскую службу после Куликовской битвы... Представьте, дети катались на шлейфе вечернего платья, скользившем по паркету особняка... Съезжали, как с горки, с госпитальной палатки... А бабушка, выходит, видела Тухачевского...

Он цитировал рукопись, когда к нам в гости приходили друзья родителей, и цитаты начинали передаваться из уст в уста — с восхищением, с восторгом; я день за днем, неделю за неделей слушал эти отрывочные фразы — и во мне нарастали смутное сомнение, удивлявшее меня самого недоумение.

Из-за чего бабушка Таня превращается днем в мятущийся призрак? Из-за Тухачевского? Шлейфа платья? Госпитальной палатки? Нет, не может быть!

Наконец спустя два, наверное, месяца отец очень торжественно, — слишком торжественно, — передал рукопись мне. Кажется, он ощущал вину за то, что перехватил ее, и торжественностью как бы извинялся. А главное — он чувствовал, что мы теперь не просто отец и сын, мы чьи-то правнуки, праправнуки, потомки тех, кто уже сокрыт во тьме веков, кто жив только в фамилии.

Как я понял уже много позже, бабушка вложила в книгу нечто, открывающееся только для первого читателя. И это волшебство первого чтения, предназначавшееся мне, доста-

лось отцу — как неверно пущенная стрела Амура превращает случайного прохожего в безнадежно влюбленного страдальца.

Даже читая вторым, зная, как тревожится бабушка, я едва-едва не поддался чарам текста. Он жил и дышал, исполнял свою мелодию, как изысканная музыкальная шкатулка. Распахивались окна в столетия, маячили на заднем плане фигуры великих; уходили из гаваней корабли, лилась кровь, люди меняли страны и подданства; и я поддался, погрузился, пролетел сквозь эпохи, стены мрака отступали, ширилось пространство света, то историческое *поле*, где творили свершения мои дальние предки.

И если бы я остановился, не перечитывал больше текст, то остался бы с этим прекрасным ощущением раздвинувшихся границ. Но я перечитал — второй, третий, четвертый, пятый раз; некая очевиднейшая и потому неуловимая странность смущала меня еще с первого чтения.

Воспоминания состояли из двух частей.

Первая — восемнадцатый и девятнадцатый век, семейные легенды; бабушка записала их так, как в детстве слышала от старших сама: дети уложены спать за ширмами, но они притворяются, что спят, а взрослые начинают рассказывать истории о предках, об их встречах, любовях, смертях, разлуках; слушать такие истории, сидеть ночью у стола в зале и означает быть семьей.

Зимний полустанок где-то под Калугой, два поезда, застрявшие в снежных заносах, встреча прапрадеда и прапрабабушки... Их брак, которому противились родные, — прапрабабушка была мещанкой из бедной семьи, прапрадед — полковник с видами на генеральство, наследник имения, любимчик родовитой родни, сделавшей на него ставку в игре честолубий. Брак, супружеская жизнь, покупка маленькой усадьбы под Серпуховом, рождение троих детей, смерть прапрадеда на Кавказе... Прадед, ставший военным врачом, воевавший в Русско-японскую войну, так же случайно, как и отец его,

встретивший будущую жену в захолустном городке на Транссибирской магистрали, где стоял госпитальный эшелон. Снова брак, не одобряемый родными, снова дети, потом начало Первой мировой...

О, как хороши, как рождественски милы и сахарны были эти истории, настоящие истории из девятнадцатого века! Но для человека из конца двадцатого века то было состояние рая, исторической неискушенности, в которое невозможно вернуться. Я не мог соединить себя с ними, с просвещенными дворянами, стесняющимися дворянского своего звания, с теми, для кого пределом ужасов, высшей мерой страдания были оборона Севастополя в Крымскую войну или оборона Шипки конца семидесятых.

Во второй части бабушка писала о том, что видела, чему была свидетелем сама: Первая мировая, Гражданская, двадцатые, тридцатые, Великая Отечественная... Странствия с отцовским госпиталем по тылам русских армий в Галиции и на Украине; семнадцатый год, болезнь отца, возвращение в усадьбу, затворничество; восемнадцатый — прадед пошел на службу в Красную армию; снова госпитальные странствия, на сей раз по тылам красных фронтов и войсковых групп; великое рассеяние, братская вражда, часть родственников отправилась в эмиграцию, младший брат прадеда, офицер, служил в армии Колчака, а потом исчез; старший брат, священник, вероятно, ушел из Крыма с войсками Врангеля либо был расстрелян красными, взявшими полуостров. Кажется, эта неопределенность — погибли ли братья, оба-два — первейшие враги советской власти, *поп* и *царский офицер*, — или уцелели, живут за границей, а может, сменив фамилии, прячутся где-то на советской земле, много лет добавляла миндальный цианистый привкус к родственной горечи утраты; в каком-то смысле для оставшихся в Союзе было бы лучше, если бы те братья погибли при свидетелях.

Поздние двадцатые — учеба бабушки, браки ее родных, двоюродных, троюродных братьев и сестер, начавшийся таким

образом распад старой семьи: две трети новых союзов были немислимы еще десять лет назад. Бабушкино одиночество — никого не встретила? Любила безответно?

Тридцатые — не больше десяти страниц на все десятилетие, и те, кажется, написаны под внутренним принуждением; какие-то анекдоты из работы в типографии, бытовые дела, великое начинание — всей семьей вступили в семейный кооператив; в 1938 году умерла прабабушка, и семь из десяти страниц посвящены похоронам.

Война — бабушка уже беременна, причем младенец возникает в тексте так неожиданно и в то же время рутинно, словно бабушка носила его в себе уже лет десять, замершего в состоянии эмбриона, сжилась с ним, свыкалась — а тут явила читателям, и он начал развиваться, расти, как и положено ребенку.

Роды в августе; осень, и немцы уже у самой Москвы; паника, грабежи, бегство на восток; контрнаступление советских войск, декабрьская атака сквозь тьму, мороз и снег; первая смерть — двоюродный бабушкин брат погиб в траншейной рукопашной. В первые пять месяцев войны никто из семьи не был даже ранен; теперь смерть, словно читая список от А до Я в классном журнале, дошла до нашей фамилии; отсрочка кончилась.

Все те люди, что возникли на страницах воспоминаний в конце двадцатых — начале тридцатых, теперь появлялись снова — в последний раз; бабушка только успевала записывать, кто и когда погиб, в каких обстоятельствах, если это было известно. Те, кто оставался в тылу, внезапно оказались на передовой: бабушкин двоюродный брат, академик, многих по-родственному устроил на работу в Ленинграде. Его вывезли на самолете как ценного специалиста, а другие остались в блокадном кольце, и до снятия блокады не дожид ни один человек.

Но такие подробности я узнавал уже из отцовских помет — он уточнял что-то у родственников, сверялся с документами;

бабушка же писала так, будто не хотела писать; эта часть воспоминаний была как бы вынужденным довеском к первой.

Я ощущал некоторое разочарование. Я ждал чего-то гораздо более масштабного, баховского. И это ожидание в конце концов помогло мне понять, как на самом деле написаны воспоминания, какие подтексты они хранят в себе.

Мое изначальное — ошибочное — допущение было в том, что бабушка описала весь доступный ей объем прошлого, сделала всю работу и мне нужно лишь усвоить новое знание. Я, строго говоря, приписал ей свою цель — полное открытие правды; а она такой цели достичь не сумела или, что более вероятно, и вовсе не имела ее. Поэтому оказалось, что важно в первую очередь не содержание воспоминаний, а мой опыт прочтения — между строк, вообще сквозь текст, обладающий лукавой достоверностью документа; это — самое интересное, волнующее, это — настоящий исторический детектив, а вовсе не подробности семейной жизни в начале двадцатого столетия.

Первое, что меня удивило, — единицей рассмотрения для бабушки была семья, а не человек; или — человек в его связи с семьей, человек как определенный *орган* или *функция* семьи. Это задавало весьма своеобразную оптику повествования: по сути, в нем не было автономных действующих лиц.

Это ощущение усиливалось еще одной особенностью. Бабушка писала так, словно люди никогда не принимали никаких решений в исторических обстоятельствах. Они влюблялись, предлагали, — весьма драматически, — руку и сердце, сходились, рожали детей, ссорились с родными. Но как только текст доходил до места, где предполагался глубокий личный выбор, возникали совершенно проходные фразы вроде: “А потом отца призвали и он начал служить в Красной армии”.

Прадед, дворянин, царский офицер, как я мог догадываться, конституционный демократ по убеждениям — неужели просто “призвали и начал служить”? Так не могло быть, но так было

в реальности, создаваемой текстом; в этой реальности люди жили исключительно под властью обстоятельств.

Да и сам автор, надо заметить, находился в той же позиции, что и его герои. Бабушка писала в высшей степени эмоционально и при этом — безличностно; эмоциональность была художественной, возникающей в описаниях природы, скажем, синих дельфиниумов в летней пойме Оки, в самой плоти слов; но при этом текст словно писал опытнейший бюрократ, поднаторевший в составлении документов: нигде не выразить свое мнение, не дать оценки.

Это было сложно заметить: столько подробностей, событий, внимание постоянно поглощено... Я смог поймать, сформулировать это ощущение только при третьем или четвертом прочтении. Сколько обид, сколько несправедливостей, погибшие в Гражданскую, погибшие в Отечественную, сестры, умершие от голода в блокадном Ленинграде... и ничего. Никакой реакции, крика, стога, вопля о мести или воздаянии; так, словно чувствовать обиду, боль — это лишняя трата сил. Вообще, уже не только касательно семьи — скольких погубили, скольких вычеркнули из жизни, сколько крови пролилось, сколько подлостей и мерзостей было совершено — и тишина...

Бабушки *не было* в этом тексте, был архивист семейного наследия, доброжелательный рассказчик, а живого человека — не было. Спрятался, ушел в потемки.

Сначала я объяснял все это тем, что бабушка была самой же собой ограничена, она стремилась — и не сумела выйти за пределы опыта, привычки скрывать искренние, настоящие мысли.

Следующая догадка была иной. Мне показалось, что бабушка задумала назидательный, просветительский проект; составила, так сказать, позитивный “беловик” семейной истории, имеющий цель не правдоискательскую, а педагогическую, воспитательную. Бабушка очень любила это слово — “беловик”, любила, когда занималась редактурой, сложить стопкой чистые печатные листы, уже без помарок и правок, — и тут же соби-

рала и выбрасывала листы исчерканные, черновики, ни минуты не давая им задержаться на столе рядом с *беловиком*.

Бабушка Таня, думал я, как бухгалтер жизни, истории и быта, сводила дебет-кредит, и, если по правде, выходил огромный, чудовищный минус. Но ей, ради положительного урока, нужно было свести баланс с небольшим, мизерным (что тоже урок, хорошего много не бывает), но плюсом. Она хотела написать своего рода апостольское послание, ободряющее “письмо надежды”, проповедь о двадцатом веке; и поэтому, как свидетель архипристрастный, была готова на “честный подлог” — такое парадоксальное определение есть у библеистов.

Я чувствовал, что угадал — но отнюдь не все; я стал думать о том, что бабушка буквально спряталась за семейную историю, чтобы не рассказывать свою собственную; материал оказался очень удобен — множество линий, сюжетов, тайн, встреч, игр судьбы.

Великая мнимость, великий обман текста! Кажется, столько написано, столько всего открывается — а на самом деле ты видишь рамки, занавески, потому что никогда не узнаешь, о чем *не* написано. Только по изъянам композиции, по “провисаниям” сюжета, по нарушениям драматургии ты можешь что-то понять, уловить нестыковки; ты думаешь, что назначение этого текста — открывать, а его назначение — открывая, замещать, рассказывать одно вместо другого; великая избирательность, великий диктат; получил очень много — вместе с этим почти ничего не получил.

А картина уже написана, глина уже застыла, резец отложен в сторону; труд творца завершен. И не вклиниться внутрь, не вытащить подтекст, не прознать сокрытое; именно законченность — фатальна, безвыходна, она порабощает читающего!

Я даже поразился красоте идеи: скрыть нечто через изобилие предъявленной памяти.

И вдруг — как страшное открытие параноика, оказавшееся правдой, — ко мне пришло ощущение, что все воспоминания,

все триста страниц есть одна операция прикрытия; они прошли жесточайшую внутреннюю редактуру, в которую бабушка вложила все свое мастерство, редактуру содержательную и композиционную; у этого текста очень специфическая, трудно уловимая посторонним взглядом задача.

Дело в том, что бабушка Таня вообще не упомянула в воспоминаниях о деде Михаиле, даже легенду про радиста не повторила. Отец, кажется, и вовсе этого не заметил или не ждал. Я сначала тоже не придавал этому значения, но потом меня стала смущать эта бабушкина цензура. Что-то зловещее чудилось мне в том, что бабушка невольно оказывалась заодно с фальсификаторами и ретушерами, вымарывавшими портреты из альбомов и статьи из энциклопедий.

В мемуарах она была внучкой, дочерью, сестрой, двоюродной сестрой, но не женой, подругой, матерью. Тем самым течение текста (сознательно, бессознательно?) очень ловко направлялось туда, куда ей было нужно.

Дед Михаил должен был получить свое место в рукописи хотя бы по принципу любознательной внимательности к совпадениям, к ранним приметам судьбы: ведь он уже жил тогда, учился, работал... Одна простая фраза: а в это время Михаил... Но ее не было, этой фразы.

Жест прощения? Непримирения? Ненависти? Почему не написать просто: был недостойным человеком, если там действительно всего лишь личная драма? Тут тьма...

Я представил, что дед Михаил, скорее всего, был чужаком для большой нашей семьи. Он пришел откуда-то из исторических потемок, куда не падает свет документальной памяти. Может быть, он хотел войти в новый для него круг, стать частью большего. Но вот это большее его отталкивает и, последним жестом, вычеркивает, *“убивает”*...

Я стал искать в рукописи корешки вырезанных страниц — может быть, бабушка все же что-то написала о нем, а потом вырвала? Нет, все страницы были на месте. Но я чувствовал,

чувствовал, что у нее был какой-то текст про деда Михаила, глава, ему посвященная, я даже представлял примерно, где она могла бы располагаться; но бабушка этот текст, существовавший в ее голове, не записала: так она решила. И этот незаписанный текст, словно душа умерщвленного, еще витал над рукописью.

Что ж, думал я, вполне материалистическое сознание: унести тайну с собой. В каком-то смысле — перифраз сталинского “сын за отца не отвечает”; какие неожиданные рифмы выстраивает жизнь! Зачем это было сделано? Чтобы не искали дальше? Почему не искали? Потому что стыдно? Или потому что в прошлом тайна, опасная и десятилетия спустя? Или и то и другое? Уж не саркофаг ли эти мемуары, подобный саркофагу над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС?

Эти вопросы я не хотел себе задавать — я очень любил бабушку. И все же меня не покидала мысль: а сколько в тексте еще таких зон молчания, таких провалов? Ведь отсутствие деда Михаила очевидно лишь потому, что каждому человеку положен отец; а сколько еще умолчаний?

Бабушка Таня невольно сфокусировала меня на деде Михаиле. Я понимал, что ситуация тупиковая, что сведений больше не будет, если, конечно, бабушка не придет в себя и не решит заговорить; в сущности, думать о деде Михаиле и секрете его жизни, его исчезновения означало напрасно тратить время.

Но в то же время было предчувствие, что сам факт чтения рукописи уже нечто потревожил в прошлом, разбудил какие-то спящие силы; я не хотел думать о деде М. — и думал, будто сползая в воронку; тайное родство, фигура судьбы, повторяющаяся в поколениях, — что-то нас объединяло с ним, привязывало меня к нему.

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

Глава I

Всего лишь один фрагмент, один эпизод в книге был написан не так, как весь остальной текст. В нем бабушка Таня не изображала семейного летописца, не уходила в нравоучительность, писала экспрессивно, кажется, даже сильнее нажимая на шариковую ручку.

Порой мне чудилось, что бабушка, когда писала этот фрагмент, старалась остановить саму себя, вернуться к норме своего письма, “сбить” тексту температуру. Она нарочно притормаживала интонацию отточиями, громоздила фонетически неблагозвучные конструкции, выстраивала баррикады из трех-четырёх согласных подряд; пыталась, зацепившись за поверхностное сравнение, свернуть на тропку сентенций; старалась бегло проскочить какой-нибудь факт или мысль, отделаться поверхностной ремаркой, но — фантастическое зрелище — текст словно сам принуждал ее вернуться, додумать мысль.

Один фрагмент — два взаимосвязанных страха, которые преследовали бабушку Таню всю жизнь, создали и поддерживали в определенном тоне испуга ее личность. Они случились в девичьи ее годы, но возвращались потом не пустыми призраками из прошлых лет — всякий раз заново происходили в реальности, выбирая себе новые обличья, разыгрывали драму в другой мизансцене и с новыми героями. Очень многое бабушка совершила, скармливая себя им понемногу,

жертвуя собой, чтобы они из страхов не превратились в настоящую беду.

...1921 год, уездный городок Тамбовской губернии, разгар Антоновского восстания. Города, поселки и железные дороги принадлежали красным, а вся окружающая местность, особенно леса, дальние деревни, — *зеленым*. Мой прадед Николай, отец бабушки Тани, работал там врачом в военном госпитале и по совместительству служил в губкомдезертир — губернской комиссии по отлову дезертиров, освидетельствовал тех, кто пытался представиться больным, а восемнадцатилетняя бабушка работала в канцелярии этого госпиталя. Иногда она подменяла санитарок — врачебного персонала не хватало, а она, дочь врача, была поопытнее, поискуснее многих.

Перед ее глазами проходили один за одним молодые солдаты — почему-то воевали там с повстанцами одни новобранцы, едва вошедшие в призывной возраст, а большинство умелых ветеранов Первой мировой оказались на стороне *зеленых*. Редко кого ранили дробью и еще реже — пулей из винтовки, настоящего оружия не хватало и тем и другим, один пулемет предопределял исход сражения.

Шел четвертый год Гражданской войны, и всякая жестокость уже, кажется, утратила смысл жестокости, все уже было — и насмерть запоротые шомполами, и разорванные лошаадьми, и сожженные в топках и печах, и заживо освеженные. Но и на четвертый год люди находили в себе силы отрезать гениталии, штыками выкалывать глаза, вырезать ножами звезды и кресты на спинах; будто не чужака смертно мучаешь, а своего, кровно родного — и от этого приходится быть трижды жестоким, потому что сперва ты должен убить в себе братское, а уже потом — убить человека.

В госпиталь поступали самые тяжелые раненые; изуверенные, с вырванными языками, с ожогами от раскаленных подков, приложенных к ступням, раненные ножами, топорами,

пилами, дрекольем, насаженные на борону, затоптанные лошадьми, иссеченные косами, забитые цепами — словно вся деревня пошла войной на Красную армию, на бойцов ополчился сам крестьянский инструмент.

Ошалевшая от карболки, эфира, йода, гангрены, гноя, внутренних нечистот тела, вскрывающихся при операции, бабушка видела только одну сторону схватки: изуродованных этих красноармейцев. Продразверстка, продотряды, отбиравшие у селян зерно, голод в деревне — причины восстания, правда восставших — остались скрытыми для нее. Антоновцы были для бабушки Тани только бандитами, “темной деревней” из классической русской литературы; а молодые солдаты-красноармейцы, ее сверстники — в каком-то смысле *новыми людьми*; и вот новых людей резали, рубили, кололи, обнажая их *красное нутро*, пытали огнем и водой старые люди, прежние люди; и бабушка страдала за убитых душой, словно в их лице убивали будущее.

А губернская комиссия по борьбе с дезертирством тем временем собрала уклонявшихся от призыва — несколько сотен. Оставлять их на службе в городке было нельзя, они разбежались бы по домам, а кто-то ушел бы напрямик к антоновцам. Их нужно было вывезти куда-то подальше от восставших краев, туда, где нет у них родных, где никто не укроет, не спрячет, и уже там муштровать, делать из них солдат. С трудом губком-дезертир собрал вагоны, паровоз, получил уголь, назначили день отправки; прадед Николай должен был ехать с этим эшелоном. Прадед, похоже, хотел спасти этих ребят, уберечь от участия в безнадежном восстании и потому записывал на службу даже тех, кто не подходил по здоровью или возрасту, — лишь бы отправить их в безопасные края.

Большинство новобранцев были местные, но нашлись и десятка два приبلудных — кто с Кавказа, кто из-за Волги.

Многие новобранцы старались представиться больными, в городе появилась группа татар, бывших лошадиников, ко-

торые делали призывникам фальшивые язвы, доставали — за плату! — мокроту туберкулезных больных; часто заседала врачебная комиссия, и бабушку (мало было грамотных) назначили в эту комиссию секретарем.

Она, выходит, видела всех этих новобранцев без исподнего, видела худые мальчишеские тела, каждого знала и по имени, и по приметам тела, у кого шрам, у кого родинка; все они прошли мимо нее, и жалость, великая жалость возрастала в ней; торчащие ребра, впалые животы, острые ключицы, худые ноги и плечи — и все это может перечеркнуть один удар шашки в опытной руке, рассечь так, что жизнь выйдет во мгновение, раньше, чем хлынет кровь.

Один только юноша, постарше товарищей года на два, сам сказал, что хочет служить. Был он откуда-то с Кавказа, сын горца и казачки, полукровка, наполовину пришлый и в аулах, и в станицах; где-то он уже успел повоевать в красном отряде.

Не смущаясь, как другие, он назначил бабушке свидание накануне отправки эшелона; они гуляли по городку, где в будущего красноармейца легко могли пальнуть из обрезка. И с какой-то высокомерной удалью рассказывал он, как служил в части, что никому не принадлежала, была сама по себе, пусть и звалась красной; то ли какой-то продотрядовец сколотил ее, то ли агент ВЧК, а то ли и вовсе самозванный красный комиссар, самовластный правитель двух-трех городков — такие правители не редкость были в те годы. Рассказывал он, как выкликали добровольцев, — была у белых местнотчимая икона, и вроде как осеняла она *белое дело*, вершила чудеса, укрепляя веру белых воинов; велено было икону уничтожить, и никто не вызвался, один он — прокрался ночью, зарезал часового, снял икону со стены в дальнем скиту и утопил в болоте. Сколько там было бахвальства, сколько правды — неизвестно, но, видно, правды оказалось немало, бабушка Таня всегда чрезвычайно чутко улавливала ложь; и не было у нее мысли о кощунстве — утопить икону, — скорее, она, девушка из семьи, где было много

священников, где сильна была начетническая, ритуальная вера, встретила наконец-то по-настоящему *нового* человека.

Гуляли они, обмахиваясь коптилками, банками на веревочке, похожими на кадило, где тлел едкий торф — столько было в то лето комаров и мух в пойме близлежащей реки, говорили — от трупного яда, от разложения тел, спущенных в зиму под лед.

И только одно спросила она у него — зачем же он отправляется в армию, если уже служил в вольном отряде; и он объяснил, неожиданно серьезно, что хочет пересложить свою судьбу, ни горцем не хочет быть, ни казаком, а хочет туда, где ни горцев, ни казаков нет.

Красная армия, наверное, стала для него новым храмом, потому он так легко и расправился с иконой храма прежнего; вероятно, был он честолюбив и чуял шанс выбиться в военачальники, да не только в этом была суть; в обращении “товарищ”, в красном цвете знамен был для него образ новой жизни как таковой, ясной, справедливой, где найдется ему дело по силе. Кажется, именно эту тягу и уловила бабушка Таня и оценила ее; и обещала ему то ли писать, — куда, как, на какой адрес, какая почта в разрушенной стране? — то ли свидеться еще раз, хотя знала, что не увидятся они больше никогда.

Утром назначенного дня прадед Николай ушел на станцию, скоро там загудел паровоз, несчастный это был звук, поезда ходили редко, и все поняли, что теплушки с новобранцами отправились в путь. А ближе к вечеру ворвалась в госпиталь женщина, крича: скорее, скорее, все на пожарный двор, скорее, берите бинты, скорее!

И пока бежали туда, вестница еще прокричала, задыхаясь на бегу, что антоновцы остановили эшелон на перегоне, вырезали всех, кто заперт был в вагонах, — красные командиры не доверяли новобранцам, навесили замки на вагоны, оружия не дали — и разогнали паровоз в обратную сторону, пустили накатом прямо на городскую станцию; так туда и вкатился *поезд мертвецов*.

Даже если бы бабушка не знала, где пожарный двор, она нашла бы его; с той стороны шли, шатаясь, по улицам плачущие люди; а там, за темными домами, раздавался многоголосый вой.

Пожарный двор, сложенный из красного кирпича, не багрового, не охристого, а почти алого; над двором протянули провода, повесили электрические лампы, ярчайшие электрические лампы — или бабушкина избирательная память добавила этот нестерпимый свет, было ли тогда в городе электричество?

Двор был завален изуродованными трупами, мертвые тела не помещались в окоем стен, кое-где лежали в два слоя; почти все раздетые — повстанцы, прежде чем убить, заставляли снять одежду, которая была нужна им самим. Между тел ходили красноармейцы, говорили — ищите своих, ищите своих, ищите своих, — как будто люди могли прийти сюда за чем-то другим.

Жители несли из дома рубахи, штаны — одеть мертвых; мертвецы не поддавались, не сгибались, заоченели уже; спины и животы багровели звездами, вырезанными во весь размах плеч или во всю грудную клетку. Наверняка звучали проклятия красным командирам, забравшим сыновей на смерть, но о них бабушка не писала — не запомнила? Вычеркнула из памяти?

Отец, отец где-то здесь, — наверное, только о нем думала бабушка; у прадеда была борода, а там лежали сплошь безбородые, безусые; но многие лица были скрыты коростой запекшейся крови, измолочены прикладами, сапогами; выколотые глаза, опаленные рты, выдранные с кожей волосы — как узнать, если смотреть невозможно?

Молодые, безбородые, безусые красноармейцы, лежащие на пожарном дворе, где красный кирпич, красные щиты с баграми, где трудятся люди, не сгорая входящие в пламя; лежащие, будто в печи, будто горели — и не сгорели; не солдаты — отроки-мученики.

...В закутке двора, где стояли пожарные бочки, собрали выживших — их было не больше десятка. Кого-то пощадили,

не поднялась рука на брата или племянника, кто-то сумел укрыться, заслониться телами, вовремя упасть, оказаться заваленным трупам. Их окатывали водой из тех бочек, смывая кровь, они рождались заново в этом омовении — и среди спасшихся бабушка увидела юношу, с которым гуляла накануне, с которым рассталась навсегда; он один, как говорили, не поднял руки, не сдался, выхватил оружие у антоновца, отстреливался, а потом спрятался в тендере и потому стоял черный от угольной пыли.

Он был дважды ранен, но легко, по касательной; он был единственной живой душой для бабушки — и дважды прошел с ней смертный двор, разыскивая ее отца; он поднимал, переворачивал тела, счищал кровь, соединял распластанные половины черепа — а бабушка смотрела; что за связь возникла между ними тогда, между дважды прошедшими долиной смертной сени, между спасшимся и ищущей?

Но не найти было отца, моего прадеда; они пошли домой — словно навсегда уже соединенные, словно муж и жена, словно он был теперь старший мужчина в семье, — и у дверей дома столкнулись с прадедом Николаем; тот сошел на ближнем от города полустанке, там срочно понадобился врач, и возвращался теперь на подводе, еще не зная о резне.

Юношу этого потом бабушка потеряла — то ли он стал бойцом ЧОНа, то ли уехал в Питер, след его в повествовании оборвался; другое занимало бабушку тогда — ВЧК завела дело на прадеда: его обвинили в том, что он, единственный случайно выживший командир, выдал дату отправления эшелона антоновцам.

И никак тогда прадед Николай не мог доказать, что он чист. Дома только этим следствием и жили, все думали, как ему оправдаться. Переживал прадед; сам факт, что он под следствием, был для него невыносим; не спал ночей, и так болезненно чистоплотный — все-таки врач, — стал еще тщательнее за собой следить, требовал стирать форму чаще, словно

физически чувствовал “пятно на репутации”, словно косые взгляды — были и такие — буквально его пачкали.

Бабушка тогда сделалась как бы семейным министром иностранных дел; ходила по инстанциям, просила за отца, передавала послания друзей, приносила продукты.

А в том городке было множество беспризорников, сирот, отбившихся в войну от семей. Беспризорники селились в брошенных домах, в руинах недавних боев, устраивали там свои “коммуны”, куда не было ходу малочисленной милиции. Очень быстро они стали хозяевами улиц, горожане начали обходить стороной кварталы, где они обосновались, часть города отсоединилась, превратилась в жуткую пародию на новое государство, ибо, в случае если кого-то из беспризорников ловили за руку при грабеже или на краже, он тотчас сыпал новыми словечками, обзывал поймавших “буржуями”, а сам назывался сыном пролетариев или еще как-нибудь в том же духе.

Но грабили и воровали те, что постарше; у младших подростков, лет одиннадцати-двенадцати, был свой страшноватый заработок.

Они останавливали на улице прохожего, особенно любили пристать к паре, к мужчине с женщиной; любой сильный взрослый расшвырял бы их, даже женщина неробкого десятка могла бы себя защитить, если бы дело дошло до драки — что там, пятеро-шестеро щуплых малолеток, пусть вертких и шустрых. Но на том и строился расчет, что драки не будет — показывали они открытый спичечный коробок, полный вшей. И говорили: давайте деньги, не то обсыплем; вшей этих мы в тифозном бараке собирали.

Слово поперек — и действительно обсыплют, доказывали это уже не раз; и тифозный барак в городе действительно был, поди догадайся, откуда вши или сами с себя беспризорники собрали? Да и если сами с себя — что, приятнее?

В самом начале, когда какой-то гастролер из беспризорных привез в город этот подлый трюк и других научил, а вернее,

сами они научились, ухватили на лету, вымогатели еще пытались сыграть в благородные воровские традиции, шутили, разговаривали артистично-вежливо, миль пардон, тысяча извинений; а потом быстро во вкус вошли, распоясались, начало это им удовольствие доставлять. Узнали они, как легко человека замарать, как уязвим тот, кто приличия блюдет и в чистой одежде с барышней под ручку ходит; вот идет он, красавчик, а вот вши, с волос грязных собранные, в коробочке копошатся, одна на другую лезут; подержать этот коробочек у него на виду, перед носом поводить, чтобы проникся, представил, как придется волосы брить, белье кипятить, мазями мазаться, как гадко будет и отвратно; его перед ней унижить, ее перед ним, — какая власть, какая сила, ни одному комиссару не снилось! Прямо чуяли они, как мужчина с женщиной потом будут друг с друга это стряхивать, как бессилие их душить будет; чуяли — и стали обсыпать уже и тех, кто деньги отдал, глумиться, все гаже и гаже вещи придумывали — то наплюют в этот коробок, то насморкаются, то сперму спустят...

И никто ничего с ними не мог поделаться, хотя и милиция пробовала, и военные, и местные парни собирались ватагами, облавы устраивали. Две-три шайки поймают, сдадут в детприемник, вроде тихо стало на улицах, а через неделю новые объявятся или прежние из детприемника сбегут, только злее станут, еще припомнят при встрече один на один, как ты их ловил, за руку в милицию тащил...

Много раз бабушка видела, как пристают к другим, видела с центральной улицы, как в переулке кого-то зажали; но была уверена, что ее не тронут, — косы она под шапку прятала, пальто и ботинки носила старые отцовы, на мальчишку была похожа, а мальчишек беспризорники не трогали, что с них взять, ни денег, ни часов, пустой номер. Так она и ходила словно в шапке-невидимке, пока однажды не выдали ей в кладовой госпиталя на всю семью мешок круп, гречки и риса, большой мешок; она лямки веревочные к нему привязала